

ЗЕЛЁНОЕ ПЁРЫШКО

Клавдия Григорьевна Агеева (в девичестве Дорошева) родилась в первой половине прошлого века, в 1922 году, в селе Густомой Льговского района Курской области. Жизнь её сплелась с историей страны, события которой, случалось, поражали людей, как бич Божий. Лишь теперь, из безопасного временного далека, можно оценить их значение. В её детские годы были живы люди века предыдущего, из того ныне изжитого русского мира, из которого произрастают нервы и откуда тянутся родовые кровяные жилки ко всем нам, ныне живущим.

И она сама через своих отца и мать, через близких родственников – оттуда. Она была свидетельницей становления и укрепления стальной Красной империи, которая должна была напитаться чьей-то силой и выпить чью-то кровь, чтобы её затем стала бояться половина мира – и та напиталась силой деревни и выпила мужичью кровь. Коллективизация и раскулачивание не миновали и её семью, но страдания, пережитые ею из-за несправедных действий безжалостной власти, и давняя детская обида не помешали ей поступить во Льговское медицинское училище и закончить его. На следующий год в звании младшего лейтенанта медицинской службы была она призвана в действующую армию, чтобы исполнить и гражданский, и воинский долг в Великой Отечественной войне. Она, правда, не принимала прямого участия в сражениях, не сбивала из зениток вражеские самолёты и не ходила ночами за линии неприятельских окопов во взводе фронтальной разведки – не совершала подвигов, за которые полагались награды и поощрения. Их часть не приближалась к линии фронта ближе семи километров, но её место было незаменимым – в медпункте 7 рокады, Военной автомобильной дороги. Она была призвана с началом войны и вернулась домой из словацкого городка Топольчаны после Победы.

Прошло немало лет. Много, чем дышала и чем жила Клавдия Григорьевна, с той поры изменилось или попросту исчезло. Послевоенный голод, замужество, семья, служба сельским врачом, перестройка, конец империи и демократии. Она теперь живёт одна в пустом доме в деревне Кочановке Льговского же района, в доме, в котором в лучшие годы семерым было просторно, а двоим тесно. У неё давний неполадок с сердцем, болит печень, изъеденная лекарствами, хронически воспаляется ухо – следствие контузии при бомбёжке под Воронежем – ноют истоптанные ноги. Но она привычно ждёт на лето «отдыхающих» – кого-то из восьми внуков и одного правнука, или кого-то из своих пятерых детей: по

старинной примете, она родила одного сына для Бога, другого для царя, третьего для себя, а ещё и двух дочерей для утешения.

Для тех, кто ждёт знаков от жизни и кто внимает людям, судьба каждого прожившего человека – урок. И когда пишешь о женщине, то знаешь, что она – образ Матери, она начало, исток человеческого рода. По состоянию её дел, по устройству жизни и по характеру её мыслей судят о состоянии России и о характере современного общества. Мне должно написать о Клавдии Григорьевне ещё и потому, что она не совсем простой человек, а даже человек единственный – она моя мать.

...Сладко спится в родительском доме на взбитой матерью пуховой перине. Угрелся под ватным одеялом и будто воспаряешь в милое деревенское детство. И на грани бодрствования и сна иногда слышится... Физики это явление не объясняют, но приходилось читать где-то у лириков, что старые строения и предметы хранят отзвуки минувшего. Каким-то образом они изменяют структуру вещества: и древесные волокна стеновых дубов, и массу глиняной обмазки, и окаменелые кристаллы половой краски. Вот спросонья вскрикнула гусыня – под каждой кроватью сидит на яйцах по наседке, вот на кухне застучал маленькими копытцами угловато-трогательный бычок – после отёла его держали привязанного поводком ко вбитому под божницей крюку. Вот бычок укрепился на ногах и слышно стало, как зашлёпали на пол парные лепёшки, и по хате поплыл запах молочного навозца, приплетаясь к запахам сохнувшей на загнетке русской печи обуви, кислых щей, свежееиспечённого и отмякшего под рушниками хлеба – всего того, о чём наш поэт А.С. Пушкин написал когда-то: «Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет!» А потом притаившийся за печкой сверчок засвербит полночную руладу, торжествуя в царстве тёплого деревенского сна. И под утро сквозь торопливо-порывистое лопотание стеновых ходиков, которым я из любопытства не раз уже выпускал кишки, и шорох голой ракиевой ветки по оконному стеклу, слышу ясный голос матери: «Боря, сынок! Вставай». Ещё так хочется спать, но внутри всё уж пробуждается – трепыхнулось и пошло в новый, дневной отсчёт. Пора в школу. Младшая сестра Ольга подчиняется побудке без возражений. Старшего брата Юрку хоть буди, хоть не буди: уже накормленный глазуньей, напоенный кружкой жёлтого молозива и, шагнув за порог, он продолжает спать. На улице падает снег, ещё не рассвело. По трёхкилометровому целику до средней школы при Льговской селекционной станции первыми идут и торят траншейную тропу в сугробах рослые мужиковатые одиннадцатиклассники, за ними следует публика подробней, а по растоптанному тракту катится и подпрыгивает уж совсем невозможная мелюзга.

Матери нужно ещё сварить обед, потом покормить домашнюю рогатую и крылатую орду, дать пойло корове, свинье, потом на рассвете проводить отца на работу на машинный табор. На попечение бабушки Лукерьи остаются дошкольница Антонина и грудной Володя. А мать собирается на свою службу в медпункт, расположенный рядом с Глиницкой начальной школой во флигеле бывшей барской усадьбы. В деревне болеть некогда, в амбулаторию идут, когда припекло, а когда уже и поздно. Принесли ребёнка, обжжёвшегося кипятком, из колхозной кузни кто-то на весу бережно доставляет расплющенный молотком палец, у тех – нарыв, воспаление, ломота. Кого-то нужно осмотреть, направить на стационар во Льгов; если не начнутся осложнения, подготовить роженицу. В обед сбегать домой, покуда схватки не начались, проверить малышня, опять покормить животину. Обычная, ломовая работа сельского врача, фельдшера-акушера. А после работы ещё и домашний обход, и только вечером собирается, наконец, семья проверить урок под плоским факелком керосиновой лампы. После ужина у каждого свои дела, а матери ещё нужно подшить одежонку, залатать протори, понесённые во время хоккейного матча на льду пруда. Потом можно заложить погасшую печь и самой ложиться спать вслед за остальными, но вот слышен стук в тёмное окно: на хуторе Пятихатке кого-то рвёт, поднялась температура. Значит, нужно обувать подсохшие «рабочие» сапожки, брать сумку с аптечкой и захаживать вслед за фонарём обычного посетителя. Если затем не возникает срочной необходимости вызывать «скорую» из Льгова, для чего приходится брести до телефона в колхозной конторе, то мать возвращается среди ночи, когда мы досматриваем третьи сны. И так с темна до темна, так год за годом.

...Домашнюю работу никогда не переделаешь, а по недостатке мужских рук деревенская обстановка рано или поздно начинает тихо сыпаться. В мои побывки у матери угловое хозяйство приходится по частям перещупывать руками: там топором пройтись, туда столб вкопать, там гвоздь вбить. Прошлым летом сковырнули с братом Володей обмазку нижних венцов сруба и присвистнули. Ноздреватая труха местами проела брёвна едва не в половину толщины. Потом нужно было восстанавливать изъеденную мышьями ходами обмазку северной стороны, обшивать её новым рубероидом, перебирать и связывать полусгнившие оконные переплёты, красить «столярку» фасада и веранды.

Дом этот собирали в Глинице толокой – «методом» народной стройки – сорок лет назад. Дуба отец наготовил в Банищанском лесу, несколько дней бригада нанятых плотников и деревенских мужиков ладила сруб, подгоняла бревно к бревну; на следующий год сруб разобрали, перевезли в Кочановку и поставили снова на месте бывшего скотного двора князя Гагарина. Дом затем подводили под крышу, мы детьми помогали обивать стены дранкой, таскали в вёдрах землю под

пол. Дом считаешь своим, когда в него вложена частица себя, своего труда и заботы. Дом в Кочановке до сих пор считаю своим домом, в отличие от тех углов и временных квартир, где приходилось жить во времена перекочёвок по стране. Так что нынешняя работа по ремонту мне не в обузу.

После простого материнского обеда в обычае «посидеть на спине» на диване с чёрной, обитой дерматином высокой спинкой и с откидными старорежимными валиками. Мать же сидит спиной к тёплой печке, листает привезённые мною вороха газет – она большая любительница чтения – поглядывает в окно. У окна в глиняном горшке тёмной обливной глазури стоит на высокой трёхногой тумбочке странное растение аспарагус – свидетель жизни нашего дома. Их подарила ещё в Глинице мать Волоки Чувакова, и мы переехали с ними в новый дом, пахнувший свежей краской и сырой ещё побелкой стен. С той поры она меняла только землю да случайно разбившуюся посуду. Она их любит, часто поливает, сбрызгивает водой, как это и требуется по их регламенту. Когда однажды ложилась в больницу, то просила соседей присмотреть за курами, за собакой, а цветок просила забрать на время к себе: вдруг позабудут полить. Я к нему однажды пригляделся. Действительно, странное растение: и смотреть-то не на что – не то, что герань, любимица деревенских хозяек. На просвет белого дня за окном, из тёмной прохладной «залы» – видится лёгкое облачко жилок и паутин. Куст аспарагуса представляет собой десяток коричневато-зелёных ветвящихся стеблей с вязкими, проволочно-гибкими, симметрично ветвящимися к концам крупными отростками, которые, в свою очередь, постепенно уменьшаясь в длине, обросли паутиной мелких отростков. Такая веточка в плане напоминает большой лист неведомого растения, но без перепончатой соединительной ткани, и состоящий из одних лишь скелетных прожилок. Удивительно скромные, тихие, даже застенчивые цветы, истинно домовые растения. В шестидесятых годах один из трёх кустов процвёл частыми мелкими цветками. Живёт сто лет, а цветёт один раз. Какое-то тёплое чувство возникает в их присутствии: вот стойкость, вот смиренная домовитость. И сколько же они видели на своём, ещё не окончившемся за окнами веку!

...А за окном за сорок-то лет многое изменилось. Сперва принялся расти, а потом отбушевал большой сад. Отец сажал его уже после того, как по нещадной дурости нашего сановного земляка Н.С. Хрущёва сады были обложены дополнительными налогами и попросту вырубались. Сажал из расчёта на три семьи: мечталось ему, как хотя бы двое сыновей женятся, поставят хаты по обе стороны родительской, а сад будет один на всех. Вышло всё не так – вообще в послевоенной деревне всё вышло не так. Яблони, сливы, груши, вишни выросли и достали корнями водяную жилу, проходящую на участке близко к поверхности, стали сохнуть, а оставшуюся часть пришлось вырубить, чтобы не затеняли огород. Теперь

усадыба почти пуста, но на неё может заехать для пахоты трактор, чего раньше не было.

...«Не дам тебе спать, – говорит мать. – Ты нае́тый?» – «Нае́тый», – отвечаю. «И на́питый?» – «И на́питый». – «И выспа́тый?» – «И выспа́тый». – «Тогда хоть дров на растопку наруби». Но кроме дров работы – непоча́тый край.

Матери со мной тяжело – ей по-женски нужна собеседница: выведать о деревенских новостях, о новом огородном сорняке, о неистребимой всеядности колорадского жука, о переменах в начальстве, посе́кретничать. К матери ещё зайдут деревенские по старой памяти за консультацией по медицинской части, или бинта попросить, и с ними-то можно матери и поразговаривать. Сын же куда неразговорчив, своими мыслями занят весь световой день, так что только вечером иногда можно с ним порассуждать. Прошлый раз я её расспрашивал о детстве, а детство и девичество – самые светлые материны воспоминания. Слушая её рассказы, соприкасаешься с небылым миром, с простотой праотеческой жизни, с её скупыми радостями и ежедневным трудом до седьмого пота...

...В коноплях было густо, прохладно и темно, и в них водились ведьмы. Правда, деревенская дурочка Марфа не боялась там ночевать, а прожила долго, лет до семидесяти. Коноплю дед Гриша – материн отец – сеял на масло, на жмых и на куделю. Конопляное масло было зеленоватого цвета, а когда его кипятили на олифу, оно постепенно меняло цвет. Превращение масла в олифу определялось по белому гусиному пёрышку, брошенному в закипевшее варево. Оно сперва тоже казалось зелёным, потом растворялось.

А сама конопля была женская и мужская. Женскую коноплю-замашку трепали жёсткими щётками из свиной щетины, скреплённой свиной же кровью, вычёсывали куделю, из которой затем пряли полотно на рубахи, кальсоны, простыни. Одна из простыней продержалась у матери тридцать лет. Мужская конопля шла на мешковину и на штаны. Рулоны тканой замашки сдавали ездившим по деревням красильщикам, и те через некоторое время возвращали ткань либо однотонно окрашенной, либо распе́стрённой весёлыми цветочками. У Лукерьи Павловны и Григория Емельяновича до начала первой мировой войны родилось двое детей, а когда дед Гриша вернулся после войны и революции из австрийского плена, у них родилось ещё двое поздних детей. Бабка Лукерья всю зиму пряла и ткала, и дети были обу́ты и одеты. Маленькой Клаве нравилось носить белые онучи под лапотки. В деревне же были хозяева и ленивые: мужик пил, хозяйка не ткала, а всё по гулянкам, так что и дети ходили обглоданные и оборванные.

Дед всю зиму вил верёвки, ладил на продажу мебель для деревенского употребления. Собранные им ларь и сундучок до сих пор стоят в кладовой нашей хаты. В деревне можно было продать только то, что сделано собственными руками, и, помимо натурального обмена, так обеспечивалась сумма денег для приобретения скота, например. Выкормленных стригунков от заводской кобылы тоже продавали, как и некоторое количество масла, олифы и мёду – дед Гриша и пасеку держал. В доме распоряжался хозяин, мужик: если отделит жене и дочкам рубль на ситчик – то-то было счастье.

Когда дед Гриша отказался сдавать в коммуну рослую, статную, красивую кобылу, его под каким-то видом арестовали и посадили во Льговскую тюрьму. Как раз в его отсутствие комитет бедноты и начал раскулачивание: ходил по дворам, описывал имущество. Бабка Луша собирала в большой узел те вещи, которые считала самыми ценными в доме, и перебрасывала соседу через плетень. Тот сперва прятал. Но однажды узел полетел обратно. Бабушка бросала туда, а он – обратно. Этого соседа, хотя жил не беднее Дорошевых, почему-то обошло комбедовское решето, но у Дорошевых «отсеяли» по полной программе: увели скот, разломали все надворные постройки, изъяли продовольствие. Это было страшно и непонятно. Когда коммуна распалась, кобылу привели обратно, не привели даже, а приволокли. Через три дня она подохла от истощения. Дети плакали. Остаток разломанной хаты опечатали, на дверь повесили замок, бабка Луша мёрзла с детьми во дворе погребе. Когда деда отпустили из тюрьмы, то ему ничего уже не вернули.

Дед Гриша умер пятьдесят лет тому назад, а в прошлом году мать написала заявление к властям и поручила мне оформить реабилитацию деда и похлопотать о возмещении того давнего ущерба: ведь её отец нажил хозяйство своим горбом, батраков не нанимал и не мог считаться «кулаком». О, это такая странная история, как играть с государством в прятки... Чиновная рать встаёт невидимой волной и обороняется на всех направлениях. Отрицательный ответ из курского управления исполнения наказаний был отправлен день в день спустя месяц после приёма заявления. Скорее всего, исполняется либо негласная бессердечная установка тянуть время, либо так всё складывается по существу вещей: ещё немного и заявления уже некому будет подавать. Нет, не пытайся требовать воздаяния с казны, смертный человек. Тут же все свои: одни грабили, другие обещали вернуть награбленное, третьи тянут время. Дочь того председателя комбеда выучилась и стала моей первой учительницей. Произошло внутреннее дело, которое рассуждает не земной суд, а история ли, Господь Бог...

Мы лишь можем порассуждать об этом деле – разрушение прежнего, древнего, ради того, что принято называть цивилизацией. Прежнее старое Андрей

Платонов называл «зажиточным привидением», оно, по сути, являлось властью природы над людьми, цивилизация же преодолевает эту власть ради искусственного мира, чтобы пропустить вперёд компьютер и «мерседес». Неизвестен механизм причин разрушения прежнего, но очевидна одна деталь: однородность русской общины и равноценность её членов естественным образом должны были мешать и мешают материальной основе цивилизации – возможности бесконечного извлечения прибыли из неравенства людей. Ещё в 17 веке в Британии десятки тысяч разорённых в результате политики огораживания, впавших в нищету и в бродяжничество английских крестьян перевешали слуги своих же сеньоров. Определённым образом можно судить об этом как о внутренней проблеме: «вопрос» заключается внутри человека. Семьдесят лет усилиями многих поколений копилось обезличенное богатство для того, чтобы в течение лишь десяти лет лавиной обрушились и Красная империя, и однородное общество, возникло неравенство, в результате которого накопленное всеми богатство стало достоянием немногих, а остальные окончательно обеднели. Но мы удалились от темы.

В 1940 году мать закончила училище и была направлена фельдшером-акушеркой на север области. Мать помнит сёла Чувардино и Лубянку, ещё более патриархальные, чем родной Густомой: в длинных избах под полатями по обе стены жили и гуси, и телята. Врач амбулатории, прокуренный Иван Абрамович мрачно, вприщур разглядывал молоденькую фельдшерицу. Мог бы что-то и подсказать неопытной девчонке, но, видно, не успел. Все чувствовали сгущение атмосферы, подспудное накопление титанических сил, готовых сойтись на поле нешуточной брани в такой несвоевременной войне.

В июне 1941 года мать призвали. Военнообязанная! В Курске формировалась их часть, в полковом комендантском участке находились все тыловые службы, был даже собственный телеграф. Мать определили в медпункт, через который фильтровался поток живой силы: отправляемых на фронт новобранцев необходимо было помыть, заболевших в пути вылечить, потом снабдить продуктовым пайком и индивидуальным пакетом. Сотни машин из их части везли к местам боёв продовольствие и боеприпасы. А когда бои приблизились к Курску, часть сперва эвакуировали во Льгов. Служивые ночевали в театре, в райсобесе. На станции Льгов-2 в эшелоны грузили технику и людей, а передовые части неприятеля уже занимали верхний город...

Мать не любит вспоминать о войне, да, пожалуй, рассказывать о ней не умеет. Другое дело – семья и родственники то ли по своей, материнской линии, то ли по линии отцовской. Сколько же их много, и как она помнит обо всех! Но помнит потому, что это родня: там общая судьба, в которой всё сцеплено примерами

поразительной взаимовыручки и внутрисемейного отступничества. О том только в романе и упишешь. Мы, нынешние, роднимся мало, нас развела и личная судьба и выверты истории: брат с сестрой не общаются годами, кто и в «иностранцы» записался – откуда же знать об украинских родственниках мужа сестры, или о дядьке тестя старшего брата? Это нынче как-то не держит внимания.

О зимнем отступлении до Самары и Камышина мать вспоминает тоже с обидой. Девичий контингент их части отправили то ли в общей суматохе, то ли по небрежности военных чиновников – в летнем обмундировании и в товарных вагонах. Много поморозилось, заболело, кого-то потом и комиссовали. Некому было подумать о двадцатилетних девчатах, как о своих дочерях... Потом был приказ на Воронеж. Воронеж был чёрен: чёрные развалины разбомблённого города, то здесь, то там из снега торчали чёрные руки убитых. Небо было черно от немецких бомбардировщиков, бомбили и дороги, и караваны на них. Шофёр машины, на которой мать ехала, при авиационном налёте был убит, мать контужена. Кто-то потом выводил её в расположение их части в районе Воронежского сельхозинститута.

На Украине в оккупации бродил тиф, через население тиф передавался войскам. Убыль мужского контингента части росла, шофёров продолжало неумолимо выбивать на дорогах, а пополнения не хватало. Так что их часть поневоле становилась более «женской». Потом – Молдавия и, наконец, Европа.

Фронт затихал, бои теряли прежнюю накалённость. Но не в районе озера Балатон. В уже освобождённых районах венгры стреляли по ночам в спину, вредили исподтишка. Что-то мать в этом месте недоговаривала, но, возможно, из-за незнания предыстории «вопроса». По крови венгры принадлежат финно-угорскому племени, они дальние родственники нашим коми и тунгусам. В незапамятные бродячие времена они откочевали на тёплый запад, растворились в нём и прикинулись европейцами. Ясно, кто занял бы к концу войны территорию Венгрии, тот идеологически и доминировал бы на ней позже. Но не все хотели под Русь!

Мать с ними соприкасалась по-человечески. Пришла однажды венгерка с толмачом, просила помочь её новорождённой дочери. Командование препятствовало общению с местными жителями, и этому были свои основания. Но мать согласилась помочь, сообщив в части о месте, куда ушла. У ребёнка оказался послеродовой сепсис, мать сделала укол пенициллина, оставила лекарств. Она так и не узнала, чем кончилось дело. Обратила внимание на богатую обстановку рядового венгерского дома, поневоле сравнивая жизнь европейскую и густомойскую.

К концу войны вновь переболела тифом. В Словакии местные женщины, оборачиваясь на её стриженную голову, шептались: «Хлап или дёвка?» В Чехословакии, впрочем, советских встречали более радостно, чем венгры. Хотя и не ощущая разницы между освобождавшими их столицу частями взбунтовавшейся против немцев власовской армии и частями Советской Армии, подошедшими позже. Разницу им потом объяснили.

Хоть мать об этом сама ничего не знала! Мне, её сыну, приходится подумать о таких вот поворотах событий. Думать и о том, как перед войной европейские лидеры предавали друг друга, оттягивая неизбежность войны на собственной территории, охраняя сытость и покой: разделили Польшу, отдали Гитлеру Чехословакию, исподволь подталкивая его к новому походу на Русь. И он случился со всеми неизбежными последствиями: с разрушением своих цветущих городов, с беженцами и пожарами, с азиатскими верблюдами у переправ, и с краснозвёздными танками на площадях своих столиц.

Ныне с разрушением Берлинской стены Европа переделалась на новых основаниях и включила в свои границы некогда наших сателлитов. Историк В. Кожин привёл мнение одного чешского интеллигента, который выбрал из двух предлагаемых вероятностей – парадное крыльцо социалистического лагеря или вылизанные задворки Европы – второе!

Что могла думать крестьянская дочь из глубинной России, глядя на ухоженные Альпы, на уютный мирок европейского обывателя, проходя рядом с теми местами в Австрии, где тридцать лет назад находился в плену её отец? Вот где история! Да ведь и не придумаешь... Те самые Альпы, извивы ущелий, снежные вершины гор, редкий сосняк подножий, выложенные плиткой тротуары городков, облелеянный мирок европейского обывателя, которого настиг очередной мировой гром. Дед Гриша видел то же самое, но в иных обстоятельствах – он был невольником, а мать пришла в стане победителей. Но почему некий невыявленный цикл европейской истории завершается новым походом на Русь? Причем за тевтонским НАТО в который раз могут пойти и «братья»-славяне: и чехи, и словаки, и поляки, и болгары... Отчего неймётся им, почему их так беспокоит наш полуазиатский, полу-византийский Восток? Сыновья, дочери и внуки Клавдии Григорьевны по разным причинам к тому предполагаемому времени уже не сгодятся для обороны. А вот правнуки, боюсь, как раз поспеют.

Словацкие муж с женой, у которых мать находилась на постое в Топольчанах, плакали, когда мать демобилизовали. Словаки жили во времена войны бедновато, мать же подкармливала их из своего пайка.

Здесь нужно добавить, что не только тыл помогал фронту, эта формула имела и зеркальное «прочтение». Существовала обратная связь, о чём у нас из некоторого высокомерия к меркантильному умалчивают: на войне платили и вещевое, и денежное довольствие. Можно было собрать посылку на тыловых складах. Этими посылками мать, может быть, спасла свою семью. Полученные от дочери американские консервы, нитки, сукно, бабушка Луша выменивала на продукты, что помогло семье продержаться и в годы послевоенные. Начался голод, пуд хлеба стоил 500 рублей. Мать помнит, как делала обход по деревням, пыталась открыть входную дверь в хату, она оказывалась приваленной трупом хозяина, а в хате на полотах лежала умершая ранее семья...

Из Кочановки послали сватов, мать вышла замуж за нашего отца и переехала в Глиницу, в купленный дом. Так стал собираться наш главный Дом, начали рождаться первые дети.

Здесь нужно бы рассказать об отце. Семью нашу в деревне почитали экзотической, гнездом белых ворон. Мать, например, принимала участие в войне, чего с другими женщинами в нашей округе не случалось; по роду работы в поле не ходила и колхозную свёклу не полола, через что прошли все деревенские женщины. В семье появился писатель. Отец тоже отличился: на финскую войну пошел добровольцем, брал у финнов Петсамо (Печенгу), в сорок первом призван был на Северный флот, второй раз брал это самое Петсамо, уже у немцев. Совершил переход Мурманск – Владивосток Северным морским путём. Ходил в Америку за «товарами» по ленд-лизу в тех самых обречённых караванах PQ, когда торпедированный немецкой подлодкой советский сухогруз с двумя тысячами тонн тротила на борту в одно мгновение превращался в облако горького пара. Дважды тонул, и тогда же, вероятно, у отца зародился страх перед морем.

Отец не рассказывал, по какой причине он попал на семь лет в Норильский лагерь НКВД. Домой вернулся со справкой о победной амнистии, а поскольку уже имел специальность машиниста паровоза, то двинул путешествовать и по суше. Проехал империю с севера до южной Кушки, даже к Уралу подворачивал. Вот и гадай, чьи бродяжьи гены передались и старшему брату Юрке, которого в молодости повлекло по Чёрному морю из Одессы до Бургаса, и мне, непроизвольно пересёкшему тихоокеанское «окончание» давнего отцовского маршрута? Что влекло на сторону нас, деревенских, для кого «край света за первым углом»?

Отца постигла та же русская беда, что и многих выносливых, работающих деревенских мужиков: как работал, так и гулял. Зимой, бывало, надолго опускался в чёрную воронку, начинал вспоминать о норильской зоне, и тогда нам, детям, становилось страшно при виде взрослого рыдающего мужчины. Мать вынесла и

этот крест. После смерти Петра Афанасьевича Агеева в 1980 году осталось чувство недоговорённости: то ли мы отца не поняли, то ли недослушали. Он был книгочей, судил о подоплёке событий в стране, например, из первых рук – прежний лагерный опыт общения с бывшими наркоманами и красными директорами многое ему давал. И судил он о вещах не только с точки зрения тёртого жизнью крестьянского сына, но с мудрованием. Вообще при взгляде на отцовскую судьбу не можешь отделаться от впечатления игры избыточных жизненных сил, которые последовательно умаялись при попытке движения к прямой цели окольными путями (русский обычай, как заметил философ И. Ильин). И один случай это подтверждает. При бункеровке угля в американском порту на атлантическом побережье отец решил остаться в Америке. Зарылся в кучу угля на перегрузочной барже у пирса, дождался, когда родное судно отойдёт от причала и встанет на рейд. Однако бессонной ночью о многом передумал, вспомнил Кочановку, свою мать, затосковал. Утром вылез чумазый от угля, и первый, кого он увидел, был такой же чёрный негр в форме американской армии. Наверное, отца это настолько пробрало, что он закричал, указывая рукой на силуэт готового к отплытию судна, запросился обратно. Тогда поверили, что отец просто уснул в трюме от усталости и прозевал отход... И этот «зигзаг» потом привёл отца к возвращению в Кочановку.

...А нам, детям, привычно было жить в большой семье. В ней сами дети друг друга воспитывают. Схватка до крови со старшим братом за попытку покататься вне очереди на единственном велосипеде не означает, что он не отстоит тебя в побоище «улица на улицу», а старшая сестра научит младшую жарить драники и наряжать куколок. Устанешь в таком таборе, зимой можешь скрыться в дальнем углу сеновала, а летом... Читаешь книгу, вполглаза наблюдая, чтобы корова не вылезла из рва прогона на колхозные зеленя, слышишь не хруст травы на коровьих зубах, а свист ковбойского лассо, топот убегающего коня с привязанным к седлу вечным всадником без головы, и слышишь поразивший кровожадных ирокезов меткий выстрел Натаниэла Бумпо по прозвищу Соколиный Глаз.

Было ли всё это, что так ярко помнится? Твердолобый бычок, выглядывающий из-за загородки в углу под божницей, его блестящие сливовые глаза, шумный дом, большая семья? Мать теперь сидит одна спиной к горячей печке, ворошит старые письма, читает ненужные газеты. Телевизор не работает, кнопка провалилась, радио три года молчит – сгнили провода, упали столбы. Тишина. Во дворе вдруг секанёт снежной крупой, расчувствуется ветер, заверещит в ветках засыхающей голой рябины. Утренним поездом из Львова обещался приехать младший брат Володя, но поезд прошёл, а володейской морды, как выражается мать, не видно. Раньше мать надеялась, что у кого-то из её детей изменятся обстоятельства и кто-то вернётся под кров родительского дома, но год

проходил за годом, а дети только глубже пускали корни в чужих краях. Однажды я пробовал объяснить ей, почему это происходит, говорил о том, что Россия – страна бездонная, в неё упадёшь – и с концами. Мать помолчала, потом сказала: «Ладно, сынок. Всё я теперь поняла». И заплакала.

...Хочешь не хочешь – огород требует шевелиться, и земля ещё обладает над ней своей властью. С зимы снова нужно готовить рассаду, размечать будущие грядки: где в этом году будет предложено расти помидорам, где огурцам скороспелым, где – на мочку, куда подсыпать редиску, а куда перец. Вот сели на яйца две утки, пора кочегарить и куриный инкубатор. Главное, не остаться бы снова без картошки, как прошлый засушливый год.

Выйдет мать на лавочку у палисадника на разведку, подождёт новостей, понаблюдает, как постепенно пустеет вокруг деревенская жизнь. Солнце-то по-прежнему веселит, принарядился зеленью лесок Жёрновец на склоне Чёртова бугра. Чёртов бугор – высшая точка нашего околотка – 241 метр над уровнем моря. Далеко с него видно. По верхам балок, которые у нас зовутся логами, тянутся обе деревни – Глиница и Кочановка: можно рассмотреть каждый дом, все сады-огороды. По правую руку в десяти верстах – раскидистые слободы Льгова. В хорошую погоду и за сорок километров просматриваются полосатые трубы Курчатовской атомной станции. А прямо по курсу простираются дымчатые леса и перелески, сбжавшиеся к пойме ныне немощно обмелевшей реки Сейм. А уж дальше, сколько хватит глаз, в зыбком мареве колышутся туманные холмцы, сливающиеся с гуртами облаков, и продолжается страна... Та самая Россия.

И видно, как блестит большой жестяной лист венка на свежем могильном бугорке на кочановском кладбище. Прибирается потихоньку старая деревенщина, меняет этот свет на лучший. Да ладно бы старики, но заторопилась и молодёжь. Уж скольких похоронили из тех, кого мать приняла на Глиницкой амбулатории в пятидесятых-шестидесятых годах. Они росли и учились на её глазах, а их повадки она распознавала по первому крику. И в каждую мою побывку мать докладывает о потерях: тот замёрз в сарае, тот повесился, тот сгорел, того рак доглодал. Как поминальник нынешних телевизионщиков из Чечни. Да только война ведь ещё не дошла до Кочановки-то.

Когда-то Михайло Ломоносов озаботился сбережением русского народа, как учёный, высчитал тенденции и определил способы количественно прибавить. Теперешняя власть чем-то другим занята: у неё своя гужовка, у нас своя. Это не власти, а нам быть у пустеющих хат, из которых в каждое окно на белый свет смотрит русское горе. А матери ещё нравится жить, ей ждётся чудес и хочется дивиться.

Верующие люди считают, что Бог ещё милует Россию из-за живущих в ней ветеранов прошедшей войны, людей долга и честного отношения к жизни. Несколько лет назад, когда о ветеранах, казалось, прочно стали забывать и даже парад Победы впервые провели не на Красной площади столицы, а на каком-то прямоезжем шоссе, матери принесли от совхоза подарок. «Банка кофе, банка индийского чая, две пачки лезвий для бритвы, две пары носков от месткома и две простыни, – считала мать. – Да, разбаловали нас, ветеранов, богато жить будем». Непонятно, то ли мать пошучивала над несуразицей такого подарка, то ли вправду считала уж за богатство. Но за ветеранов принялись всерьёз. На праздники Победы стали приходиться поздравления от президента с черной жирной его факсимильной подписью. И стали носить ежемесячные продуктовые наборы в половину магазинной цены: там попадётся и недурная колбаска, застрянут бутылки три пива и несколько пачек сигарет, которые мы с Володей при случае раздымим, бесов потешим. С юбилея Победы хранилась литровая бутылка немецкой водки «Спиритуозен ГмбХ, Дюссельдорф» – «гуманитарка» победителям от побеждённых. Когда распробовали с братом, едва не поперхнулись: водка была настояна на нафталине. И здесь с намёком!

Вечером попробовал яблочного домашнего вина. Сам давил его прошлым летом на ручном прессе, запускал в больших двухведёрных бутылках. Французы его называют сидром, а у нас – вино и вино. Главное дело – чтобы в мезге попадалась «косточка», зрелые коричневые яблочные семечки: они придают вину едва приметную горечь и терпкость. Только вином оно становится спустя год после того, как бывает запущено – тогда приобретает цвет и букет.

Попробовал из одной бутылки, из другой. Хотя и не совсем дозрело, но насколько лучше «Спиритуозена» из Дюссельдорфа... Узнаю: вот это из летних ранеток, это из осеннего сорта, а это – крепче и духовитей – конечно, из антоновки. Сидел я в летней веранде, пристройке к дому с южной стороны, лёгкие доски выгородок, нагретых дневным солнцем, сухо остывали. За маленьким письменным «школьным» столиком, сработанным материним братом Иваном, набросал на бумаге очерк, а вино, сколь ни слабым показалось вначале, стало забирючивать. Уже стемнело, закончилась очередная «мыльная» телевизионная серия, мать прибралась по хозяйству, позакрывала все возможные на дверях крючки, крюки, задвижки, засовы и замки – этого никому не доверяет – заглянула перед сном в веранду. Посмотрела на мою «дегустацию», усмехнулась: дескать – что с мужиков возьмёшь... Но и то хорошо, что не в людях, а дома. И ушла.

А я слушал, как соловей распевал на липе у соседей, потом перелетел на нашу сирень и, наконец, уселся на ветку каштана прямо под уличным окном

веранды. Кажется – протяни руку сквозь дощатую стенку и поймашь у соловьиного клювика его чудную трель. И среди этого домашнего уюта думалось о разном...

Вот что интересно: в родном доме детской памятью помнишь весь его объём и геометрию. Ночью в полной темноте можешь встать с кровати и пройти по комнатам, не задевая ни диван, ни стулья, и сразу попадая рукой на нужную дверную ручку или щеколду. Память о геометрии и объёме дома стала не чувством даже, а свойством психики. Иногда со сна ощущаешь пальцами мягкий матерчатый рубец и думаешь, что это стеной деревенский коврик над кроватью, а проснувшись, видишь край съехавшего диванного покрывала и обстановку чужого городского жилища. Сколько приходилось так обманываться... А под какими крышами только ни жил!

Вспомнить с первого раза (не считая пристанищ у друзей, родственников, случайных знакомых, в гостях – дай Бог мира их крову): общежития по всей стране, где ни бывал – от Москвы до самых до окраин. Солдатские казармы, бетон подземного бункера ракетного дивизиона с его глухим безмолвием, нарушаемом шелестом вентиляции, в котором провёл несколько дежурных месяцев. Пляшущие от качки переборки, плавающие в воздухе занавески и тёмный стеклянный зрак иллюминатора каюты торгового судна. Комната на отдалённом камчатском островном маяке, которую и по сию пору вспоминаю с сердечной грустью: сколько юных надежд, душевных смут и разочарований, должно быть, помнили её стены! – с еженощным клацанием проблескового механизма и с бугрящимися за метельным окном вспышками светового маяка. Помещенье сейсмостанции, понуждающее к тишине: ведь в нём нельзя было даже уронить на пол карандаш – иначе нервное световое перо в затемнённой комнате рядом писало острый зигзаг примерно на три балла. Каково было смирять гордыню с молодой женой!.. Каморка в бараке сезонников, наконец, квартира в брусовом двухэтажном доме, услышавшая первый голос новорождённой дочери. Мелиоративный вагончик, в котором летом от жары дохли мухи, а зимой волосы примерзали к стенке. Добротная трёхкомнатная квартира в районном камчатском центре – над самим райкомом партии и над памятником Ленину с рукой, легкомысленно заложенной за вырез жилета. Литинститутская общага с её разгульными коридорами и несчастными гениальными поэтессами, повисшими утром на ветвях деревьев после неудавшегося покушения на самоубийство... Снова общежития, каморки, друзья и родственники. И вот последнее пристанище: квартира в спальном северо-западном микрорайоне областного города. Но с лифтом!

И это не считая охотничьих сторожек и землянок, шалашей и палаток, кутков на плавучем доке, гостиничных номеров и мертвенно-белых бессмысленных

потолков больничных и госпитальных палат. А сколько жилищ, которые человек привыкает считать своим домом по тому признаку, что хотя бы раз в нём переночевал, – вообще исчезло. Соржавело, рассыпалось, было погребено, снесено ножами бульдозеров или сгорело в топках перемен, как те деревянные дома в камчатском посёлке Оссора, которыми зимой по причине чубайсовского недовоза солярки топили местную котельную.

А родительский дом стоит! Я оглянулся на него с обрывистого берега нашего пруда. В пруду пели лягушки, в соседнем, глиницком пруду за бугром глиницкие лягушки им солировали, кажется, ещё голосистей, ещё зычней. В тёмной траве за дорогой, ведущей на плотину, трещал невидимый коростель, и то здесь, то там пробовали голос соловьи: чф, чф, цок-цок-цок. Внизу серела извилина пруда, на машинном таборе за амбарами светил единственный фонарь, дул тихий горячий южный ветер с соседней Украины, тихо шуршала высокая, прошитая татарником трава. Оглянулся назад, а на бледном небе с проколами звёзд обнаружил силуэты ракит и тополя, похожего на метлу и впечатлелся геометрически точный, чёткий абрис дома с единственным горящим окном на веранде. Окно казалось пылающим, как решетчатый фонарь маяка. И под стук сердца, тихий шорох травы как-то сладко и торжественно подумалось о высоком и вечном. О том, что вот этот дом с горящим окном в ночи – и есть единственный Дом во вселенной, колыбель человечества, утлая ладья русской цивилизации, приплывшая к последнему причалу. И в нём нечётное количество горшочков с таинственными цветами аспарагусами, которые боятся солнечного света и цветут один раз в сто лет...

...Сердце без тайности – пустая грамота. Наверное, есть и у матери свои тайности, как у каждого человека. Наверное, ради семьи и будущего своих детей она шла на какие-то жертвы и бывала не права – не нам судить, и меньше всего мне, который как бы пишет о ней от имени всех её пятерых детей. Всех она ждёт в гости, она живёт каждым из нас, нашими горестями и радостями, она думает, куда каждого из нас летом расквартировать, как приветить, и любит нас только потому, что мы её дети.

Сегодня она компенсирует мне дорогу, выдаст десяточку сверх того. «Это на что, ма?» – «Ни на что, просто так». В июньском небе катается первый молодой гром. Он трепещет над деревней, потом валом валит по улице, персонально взрыкивая над каждым домом и каждый раз приплетая к своему голосу какую-то особую нотку. Может, в нём кому-то может услышаться и голос судьбы.

Но я знаю, что ещё не истлело зелёное пёрышко, брошенное когда-то ребёнком в селе Густомой в кипящее масло...